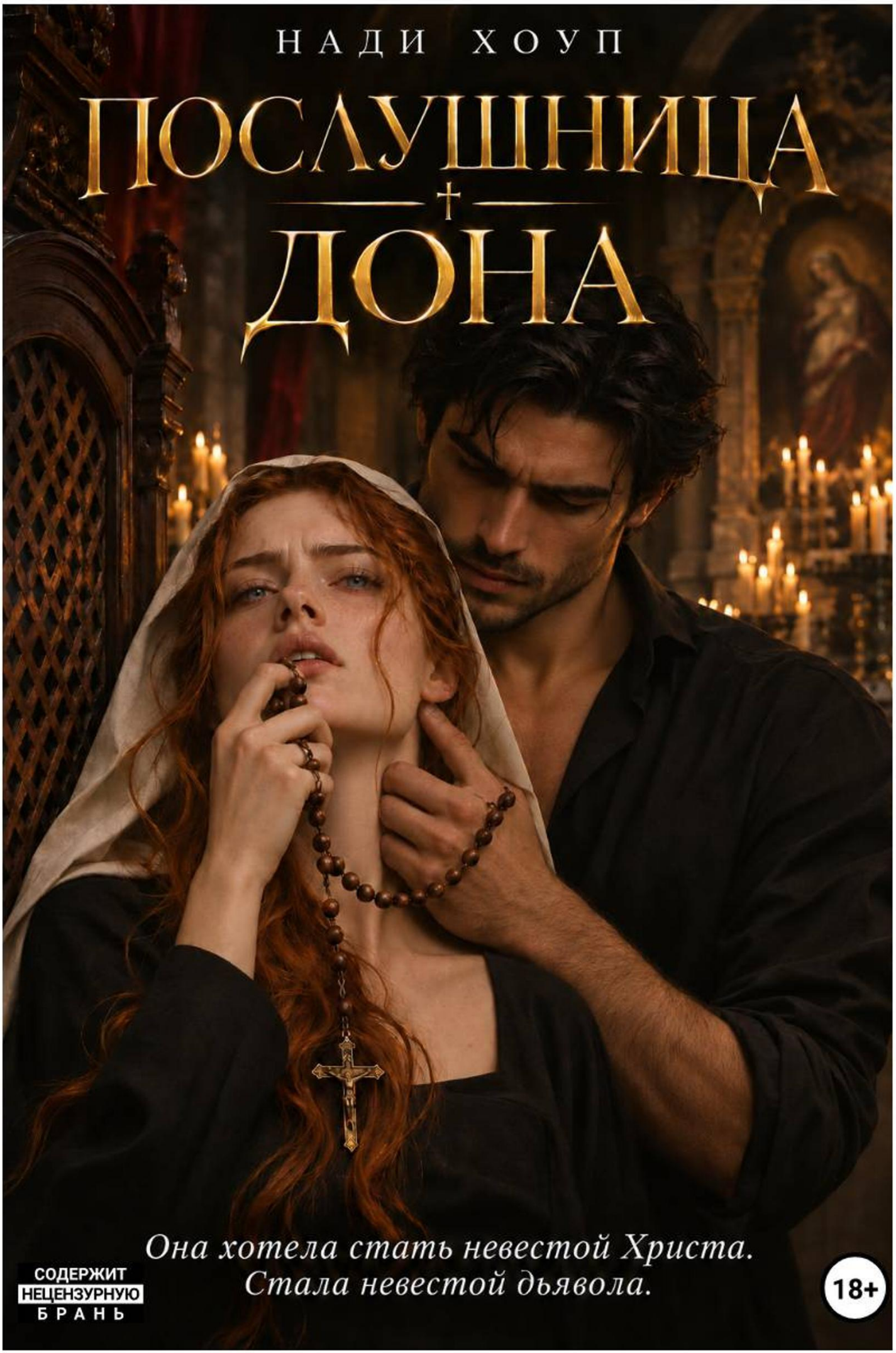

НАДИ ХОУП
ПОСЛУШНИЦА
ДОНА
Она хотела стать невестой Христа.
Стала невестой дьявола.
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Нади Хоуп

Послушница дона

«Автор»
2026

Хоуп Н.

Послушница дона / Н. Хоуп — «Автор», 2026

Серафине двадцать один, и через месяц она примет постриг. Но в ночь, когда умер старый падре, в исповедальню вошёл Лоренцо Валенти, дон Палермо, и начал перечислять своих мертвецов. Одно из имён принадлежало её отцу.Теперь она единственная, кто знает грехи дьявола. Лоренцо не убивает свидетелей, которые ему интересны. Он забирает их себе. Он забирает её чётки и каждую ночь снимает по одной бусине. Когда не останется ни одной, он решит, жить ей или нет.Он заставит её отпускать ему грехи. Он заставит её нарушить каждый обет. А её величайший грех в том, что она начнёт ждать четверга.Она хотела стать невестой Христа. Стала невестой дьявола.

© Хоуп Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От автора. 5
Глава 1. 6
Глава 2. 9
Глава 3. 13
Глава 4. 17
Гла 20
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Нади Хоуп
Послушница дона

От автора.

Дорогие мои, это история не про хорошего парня.

Лоренцо Валенти не исправится и не станет мягче, а Серафине придётся пройти через кровь, ложь и собственные грехи, прежде чем она поймёт, кем на самом деле хочет быть. Здесь будет много тьмы, жестокости и страсти – и очень мало святости. Если вы любите истории, где герои не спасают друг друга, а сгорают вместе, – вам сюда.

Внимание!

Книга предназначена для читателей старше 18 лет.

В ней присутствуют: сцены насилия и убийств, кровь, похищение и удержание героини, психологическое давление и одержимость, брак по принуждению, откровенные сцены, религиозная тематика в тёмном ключе, курение и алкоголь.

Главный герой – преступник и не является примером для подражания, а его поступки не одобряются автором.

Все герои, события и организации вымышлены, любые совпадения с реальными людьми случайны. Монастырь Санта-Кьяра в Палермо существует на самом деле, но его обитательницы и всё, что происходит в нём в книге, – вымысел. Книга не ставит целью оскорбить чувства верующих и не пропагандирует насилие и преступный образ жизни. Всё описанное – художественный вымысел.

Проды выходят регулярно. Буду рада вашим звёздочкам, комментариям и подписке – так я узнаю, что вы ждёте следующую главу и считаете бусины вместе с Серафиной.

Ваша **Нади Хоуп**

Глава 1.

Серафина

Падре Анджело умер в четверг, в начале одиннадцатого вечера. Третий день с моря дул горячий южный ветер, нёс на Палермо рыжую пыль, и в монастыре Санта-Кьяра не закрывали ставни: от духоты, казалось, задыхались даже святые на фресках.

Я узнала первой. Принесла ему воду с лимоном, как приносила каждый вечер последние два месяца, а он не взял стакан. Он смотрел в потолок, туда, где трещина в штукатурке была похожа на реку, и губы у него ещё были приоткрыты, будто он собирался сказать что-то важное и передумал на полуслове.

Я закрыла ему глаза. Пальцы не дрожали. Восемь лет в монастыре учат многому, и первым делом тому, что смерть не враг, а дверь.

Потом я пошла к матери Агнессе.

Настоятельница не спала. Она сидела над счетами при свете настольной лампы и, когда я сказала, сняла очки и долго тёрла переносицу.

– Царствие ему Небесное, – произнесла она наконец. – Утром позвоню в епархию. А ты… – Она подняла на меня глаза, и в них мелькнуло что-то, чего я тогда не поняла. – Пойди в церковь, Серафина. Приготовь всё к утру. Свечи, покров. И исповедальню прибери, после него там никто не убирал.

– Сейчас, матушка? Ночью?

– Ты ведь всё равно не уснёшь.

Она была права. Я не спала по-настоящему с того дня, как мне назначили постриг. Тридцать дней. Через тридцать дней я лягу ничком на холодный мрамор перед алтарём, мне остригут волосы, и девушки по имени Серафина Риццо больше не будет. Останется сестра. Без прошлого, без фамилии, без отца, которого я почти не помнила.

Почти.

Я помнила его смех – громкий, хрипловатый, от него у меня в детстве звенело в ушах. Помнила, как пахли его рубашки: табак и бергамот. Помнила, как он учил меня играть в скопу[1] на кухне, всегда поддавался, а потом притворялся, что злится.

Я не помнила, как он умер.

Мне было тринадцать. Мне сказали, что у него остановилось сердце. Сказали, что утром меня нашли в шкафу в его кабинете, что я молчала три недели, а когда заговорила, той ночи у меня уже не было. Врачи называли это защитой. Мать Агнесса называла это милостью Божьей.

Я называла это дырой. Чёрной, аккуратной дырой посреди моей жизни, вокруг которой я восемь лет ходила на цыпочках, боясь заглянуть.

* * *

Ночью церковь Санта-Кьяра становилась другой. Днём в ней пахло воском, старушечьими духами и туристами, которые фотографировали золотые алтари. Ночью оставались только камень и тишина, такая густая, что в ней было слышно, как потрескивает фитиль.

Я зажгла свечи у алтаря, накрыла лавку для гроба чёрным покровом и прочитала за падре целый розарий. Чётки были моим единственным имуществом: тёмные деревянные бусины, отполированные моими пальцами до блеска. Пятьдесят девять. Я знала каждую на ощупь.

Исповедальня стояла в левом нефе, в тени колонны: ореховая, старая, с резными ангелами, у которых время стёрло лица. Две кабинки и между ними деревянная решётка, частая, как пчелиные соты. Справа место для кающегося. Слева, за бархатной занавеской, для священника.

За восемь лет я ни разу не заходила на левую сторону.

Внутри пахло им – мятными леденцами, которые он вечно сосал, и старой шерстью сутаны[2]. На сиденье лежала подушка, вытертая до ниток. Я смахнула пыль, протёрла решётку, а потом, сама не зная зачем, села на его место и задёрнула занавеску.

Это был грех. Маленький, детский, из тех, в которых я потом каялась сама себе. Но в темноте, в запахе мяты, мне казалось, что он ещё здесь. Что сейчас старик кашлянет своим мягким кашлем и скажет: «Ну, дитя, в чём на этот раз?»

Я прислонилась виском к стенке. Снаружи выл ветер. Свечи на алтаре дрожали сквозь бархат красными точками.

Я не заметила, как уснула.

* * *

Меня разбудила дверь.

Главная дверь Санта-Кьяра – дубовая, окованная, ей триста лет, и она стонет каждый раз, как живой человек. Ночью её запирали на засов. Я слышала, как засов отодвинули снаружи – ключом, неторопливо, как отпирают свой дом.

Шаги. Тяжёлые, ровные. Кожаные подошвы по мрамору. Так не ходят воры, и не ходят полицейские. Так ходит человек, которому не нужно спрашивать разрешения ни у кого на свете.

Я должна была выйти. Сказать: «Церковь закрыта, синьоре, падре умер». Я даже подняла руку к занавеске. И опустила.

Шаги свернули в левый неф. К колонне. Ко мне.

Скрипнула дверца соседней кабинки. Заскрипела подушечка для коленей – старая, она всегда скрипела под тяжёлыми. А потом сквозь решётку ко мне пришёл запах: дорогой одеколон с кедром, табак и что-то металлическое, маслянистое, чему я не знала названия.

Через соты решётки я видела только тень. Широкие плечи, склонённая голова, тёмный воротник.

– Благословите меня, отче, ибо я согрешил. С моей последней исповеди прошла неделя.

Голос был низкий и спокойный, с палермской мягкостью на гласных. Голос человека, который никогда не повышает его, потому что ему не нужно.

У меня пересохло во рту. Сейчас. Скажи сейчас, что ты не священник.

– Знаю, вы не любите, когда я тяну, – сказал он в моё молчание, и в голосе проскользнула почти нежность. – Буду коротко.

Он приходил сюда раньше. К падре Анджело. Ночью. И падре, который в последний год почти оглох, видимо, часто молчал в ответ.

– Во вторник в порту я убил человека по имени Сальваторе Прести. Двенадцать лет он был со мной и продал меня за сорок тысяч. Сделал сам. Он просил, чтобы быстро. Я не стал торопиться.

Бусины впились мне в ладонь.

– В среду – двоих в Багерии. Братья. Младший плакал. Это не было необходимостью, отче. Это был урок для остальных. – Пауза. – Я не раскаиваюсь. Вы знаете. Я обещал матери, что буду рассказывать. Рассказываю.

Я зажала рот рукой. По ту сторону решётки, в сантиметрах от меня, стоял на коленях человек, который за неделю убил троих и говорил об этом так, будто перечислял покупки на рынке.

Тишина тянулась так долго, что я решила: всё. Сейчас он встанет и уйдёт.

– Есть ещё одно, – сказал он, и голос стал другим. Ниже. Тяжелее. – Я никогда этого не говорил. Ни вам, ни кому.

Дерево скрипнуло, будто он наклонился ближе к решётке. Ко мне.

– Есть женщина. Я дал слово, что не трону её. Что она будет принадлежать Богу. Я держал это слово восемь лет, отче. Дольше, чем держал что-либо в своей жизни. Через месяц она

станет недосягаемой, и это правильно. Так и должно быть. – Он замолчал, и когда заговорил снова, я услышала в его голосе то, чего там не было, когда он говорил об убийствах. Боль. – Но я хочу её, отче. Так, что это хуже любого из тех, кого я убил. Я пришёл сказать это вслух. Один раз. Чтобы потом замолчать навсегда.

Я сидела не дыша. И вдруг, насквозь страх, насквозь всё, мне стало жаль её – эту незнакомую женщину, которую хочет чудовище. И, прости меня, Господи, на одно короткое мгновение – его.

– И последнее, – сказал он уже прежним ровным голосом, словно закрыл дверь, которую случайно оставил приоткрытой. – Вы никогда не спрашивали, но вы знали. И всё равно я скажу это ещё раз, сегодня. Восемь лет назад, в ночь на двадцать третье сентября, я пришёл в дом на виа Македа и застрелил Джузеппе Риццо. Он стоял на коленях. Он знал, за что.

Джузеппе Риццо.

Имя упало в меня, как камень в колодец. Я слышала, как оно летит вниз, в ту самую чёрную дыру, и ждала удара о дно.

И дно ответило.

Щель света между створками шкафа. Запах бергамота на рукаве отцовского пиджака, в который я уткнулась лицом, чтобы не закричать. Чей-то голос – молодой, очень спокойный. И папин, который не смеётся.

Больше ничего. Дыра сомкнулась так же быстро, как открылась. Но того, что она показала, хватило.

У него не остановилось сердце. Его застрелили. А человек, который это сделал, сейчас стоял на коленях в тридцати сантиметрах от меня и пахнул кедром.

Я не решала закричать. Это вырвалось само – короткий, рваный вдох сквозь стиснутые зубы. В мёртвой тишине церкви он прозвучал громче выстрела.

По ту сторону решётки всё замерло.

Я считала удары сердца. Один. Два. Десять. По виску ползла капля пота. Где-то у алтаря треснул фитиль.

Потом скрипнула подушечка для коленей. Он поднимался медленно, без спешки, и эта неторопливость пугала больше, чем если бы он выбил дверь.

Шаги. Не к выходу.

Ко мне.

Он остановился прямо за занавеской. Я видела его тень на бархате – высокую, чёрную, закрывшую собой свечи. Слышала его дыхание, ровное, как у спящего. Он не отдёргивал занавеску. Он просто стоял и ждал, и я поняла, что он может ждать так до утра.

Радуйся, Мария, благодати полная… Пальцы сами нашли бусину. *Господь с Тобою…*

– Падре Анджело дышит громче, – сказал он наконец. Тихо. Это был уже не голос исповеди. В нём не осталось ни боли, ни нежности. Только сталь.

Я зажмурилась.

Тень на занавеске чуть наклонила голову.

– Выходи, Серафина.

Он знал моё имя.

* * *

[1] Скопа – старинная итальянская карточная игра, особенно любимая на юге Италии и на Сицилии. Играют колодой из сорока карт: картой из руки забирают со стола карту того же достоинства или несколько карт с той же суммой. «Scopa» по-итальянски – «метла»: так называют ход, когда игрок забирает все карты со стола разом, как будто сметает их.

[2] Сутана – длинная, до пят, чёрная одежда католического священника с длинными рукавами, стоячим воротником и рядом мелких пуговиц спереди.

Глава 2.

Лоренцо

Я не собирался больше приходить в Санта-Кьяра.

Это должна была быть последняя исповедь. За месяц до того, как она ляжет ничком перед алтарём и станет чьей-то чужой невестой – бесплотной, недосягаемой и навсегда не моей. Я давно решил: скажу это вслух один раз, старику за решёткой, который почти ничего не слышит, а потом запру в себе и выброшу ключ в море.

Падре Анджело исповедовал меня девять лет. С той недели, когда мы похоронили мать. Она умерла не в постели, и перед тем, как закрыть гроб, я пообещал ей одно: что бы я ни сделал, Бог узнает об этом от меня. Не из слухов, не из газет. От меня.

Мать верила, что так мою душу ещё можно спасти. Я не верил. Но слово держал. Каждый четверг, в два часа ночи, своим ключом от боковой двери, которую сам же и оплатил, как оплачивал крышу, орган и новые витражи.

И каждый четверг старик дышал за решёткой так, что его было слышно из нефа: с сипом, с мокрым присвистом, как старые кузнечные меха.

Сегодня за решёткой было тихо.

Я заметил это сразу – и предпочёл не замечать. Мне нужно было сказать то, за чем я пришёл, и я сказал. Про Прести. Про братьев из Багерии. Про неё.

А потом, по привычке, которую я сам себе не мог объяснить, про Джузеппе Риццо. Я называл его имя каждую неделю восемь лет. Как другие трогают старый шрам, чтобы проверить, на месте ли он.

И тогда за решёткой кто-то ахнул.

Не старик. Старики не ахают так – высоко, сдавленно, сквозь зубы. Так ахает молодая женщина, которую ударили ножом.

Мне не нужно было гадать, кто. В этом монастыре жила только одна душа, которая не спала по ночам. Мать Агнесса писала мне об этом в каждом отчёте за последний месяц. *«Серафина плохо спит. Молится по ночам. Не беспокойтесь, синьор Валенти, перед постригом так бывает со всеми».*

Всё во мне стало тихим и холодным. Так бывает за секунду до выстрела.

Она слышала всё. Прести, за которого антимафия отдала бы правую руку. Братьев. Её отца.

И то, что я хочу женщину, которую поклялся отдать Богу.

Она не поняла, что это она. Я был в этом уверен, как в том, что сердце у меня сейчас бьётся ровно. Она слышала имя отца, и всё остальное вылетело у неё из головы.

Пока.

* * *

Восемь лет назад Джузеппе Риццо стоял на коленях на ковре своего кабинета, и по его рубашке растекалось тёмное пятно. От него пахло бергамотом и страхом. Мне было девятнадцать, пистолет в моей руке был ещё тёплым, и я думал, что чувствовать буду только правоту.

А потом он посмотрел на шкаф в углу. Один раз, коротко, не смог удержаться. И я понял, что в комнате нас трое.

– Не трогай её, – прохрипел он. Кровь пузырилась у него на губах. – Она ни в чём… Отдай её Богу. Поклянись.

Я поклялся. Человеку, который продал мою мать. В тот миг это казалось единственным чистым поступком, который я ещё могу совершить.

Утром я сам отвёз в Санта-Кьяра тринадцатилетнюю девочку, которая не говорила и не плакала, а только смотрела сквозь меня пустыми голубыми глазами. А на следующий день перевёл монастырю первые деньги.

У меня до сих пор лежала в бумажнике её фотография из тех лет, карточка для монастырских бумаг. Я никогда не смотрел на неё иначе, чем на счёт, который мне выставили и который я буду оплачивать всю жизнь.

Семь лет этого хватало. Потом была Пасха, процессия по виа Толедо, и я оказался там по случайности, в машине с тонированными стёклами. Среди послушниц в белых покровах шла взрослая женщина с прядью медных волос, выбившейся на ветру. Она подняла глаза – не на меня, на небо, – и я понял, что счёт вырос.

В тот день я велел Томмазо развернуть машину и неделю не выходил из дома. Пил граппу[1] и не пьянел. Больше я не подходил к ней ни на километр.

И вот она сидела в тридцати сантиметрах от меня, за бархатной занавеской, и дышала так тихо, будто надеялась исчезнуть.

– Выходи, Серафина.

Она не вышла. Она вылетела.

Занавеска хлестнула меня по лицу, и мимо меня мелькнуло чёрное платье, белый покров и босые пятки – она была без туфель, чёрт возьми. Она бежала не к двери. К алтарю. Я ещё успел подумать: ну конечно, бежит прятаться под крыло к своему Богу.

Она схватила с алтаря бронзовый подсвечник в полметра длиной, развернулась и замахнулась им, как дубиной.

Я подпустил её ближе, чем следовало. Потому что смотрел на неё, а не на подсвечник. Удар пришёлся вскользь, по брови, и по виску тут же поползло тёплое. Второго удара я ей не дал: перехватил бронзу, вывернул из её пальцев и швырнул на мрамор. Звон прокатился по всей церкви.

Она отступила, упёрлась спиной в алтарь. В свете свечей её глаза казались почти прозрачными, голубыми, как лёд. Покров съехал на затылок, и на плечо упала медная коса.

– Вы убили моего отца.

Не вопрос. Приговор.

– Да.

Она ждала, что я скажу что-то ещё. Я видел это по тому, как дрогнули её губы. Оправдания. Объяснения. Чего-нибудь, за что можно ухватиться и возненавидеть меня по-настоящему.

Я ничего не сказал. Кровь с брови капнула на воротник.

– Падре Анджело умер, – сказала она вдруг, и голос у неё сорвался. – Сегодня. Вы исповедовались пустому месту.

– Нет, – сказал я. – Тебе.

Она побелела так, что веснушки на носу стали видны даже в полумраке.

Я мог бы сказать себе, что в ту минуту взвешивал варианты. Это была бы ложь, но варианты и правда были.

Убить её. Самый простой путь, и единственный, о котором я не мог даже думать. Отпустить. И уже завтра она расскажет матери Агнессе, мать Агнесса – епископу, а епископ тому, кто заплатит больше. А послезавтра её найдут в заливе с перерезанным горлом, потому что в Палермо хватает людей, которые хотят знать мои грехи, и ещё больше тех, кто не оставляет свидетелей.

Варианта было два. И оба кончались её смертью.

Был и третий. Он кончался моей клятвой.

Я сделал два шага и взял её за запястье. Тонкое, холодное, с бьющейся под моими пальцами жилкой. Впервые за восемь лет я коснулся её – и нарушил слово, данное мёртвому, в ту же секунду.

Она закричала. Громко, отчаянно, так, что под куполом отозвалось эхо.

– Кричи, – сказал я. – Стены здесь в метр толщиной. Их строили для того, чтобы Бог слышал тебя и больше никто.

Она упиралась босыми ногами в мрамор, царапала мне руку свободной рукой, кусалась. Я тащил её к боковой двери и почти не чувствовал сопротивления, такая она была лёгкая. И всё же дралась она так, словно у неё были шансы.

Мне это понравилось. И это было хуже всего.

* * *

На улице ветер ударил в лицо горячей пылью. Томмазо стоял у машины, как всегда по четвергам: руки в карманах, лицо каменное. Увидел нас – и за двадцать лет службы у моей семьи на этом лице впервые что-то дрогнуло.

– Дон Лоренцо…

– В машину её. Двери заблокируй.

Он не задал ни одного вопроса. За это я ему и платил.

Когда задняя дверь захлопнулась, я отошёл на несколько шагов, к стене монастыря, и достал сигареты. Простое движение, которое я делал тысячу раз – после порта, после Багерии, после каждого, кого я отправил на тот свет.

Зажигалка щёлкнула раз. Два. Огонёк плясал и не попадал на кончик сигареты.

Я не сразу понял почему. Потом посмотрел на свои руки.

Они дрожали.

Мелко, почти незаметно. Руки, которые во вторник не дрогнули ни разу, пока Сальваторе Прести умолял их поторопиться. А теперь они дрожали, потому что подержали полминуты тонкое девичье запястье.

Я смял сигарету в кулаке и выбросил. Потом набрал номер.

Мать Агнесса ответила после первого гудка. Значит, не спала. Значит, ждала.

– Утром скажете сёстрам, что послушница Риццо уехала к родственникам. Постриг отложен.

Тишина в трубке длилась всего секунду.

– Как скажете, синьор Валенти.

Она даже не спросила, жива ли она.

* * *

В машине пахло кожей и её страхом. Она вжалась в дальний угол сиденья, как можно дальше от меня, поджав босые ноги, и шептала. Я знал эту молитву. Мать читала её над моей кроватью, когда я болел. *Святая Мария, Матерь Божия, моли о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей…*

Её пальцы перебирали чётки на шее. Бусина за бусиной. Быстро, как счёты.

Я протянул руку и снял их с неё. Не резко, но так, что она не успела помешать. Деревянные бусины были тёплыми от её кожи.

– Отдайте. – Впервые за всю дорогу она посмотрела на меня. – Это всё, что у меня есть.

Я взвесил чётки на ладони. Считать не нужно было. Я знал, сколько их в католических чётках.

– Пятьдесят девять, – сказал я.

Она не поняла. Хорошо.

– Пятьдесят девять бусин. Пятьдесят девять ночей. Каждую ночь я буду снимать по одной.

– А потом? – её голос даже не дрогнул. В нём была только ненависть, чистая и светлая, как вода в купели.

Я сунул чётки во внутренний карман пиджака, туда, где лежал бумажник с её старой фотографией. Долг и должница в одном кармане.

– Потом я решу, что с тобой делать.

* * *

[1] Граппа – крепкая итальянская виноградная водка, обычно сорок градусов и выше. Её делают из виноградных выжимок, кожицы и косточек, которые остаются после виноделия. Пьют маленькими рюмками, чаще после еды.

Глава 3.

Серафина

Вилла стояла на скале над морем, и к ней вела дорога, которая не знала ни одной прямой. Я считала повороты, потому что чёток у меня больше не было, а рукам нужно было что-то считать. Сорок два. На сорок третьем фары выхватили из темноты чёрные ворота, и они раскрылись сами, без звука, как челюсть.

За воротами были кипарисы, высокие и тёмные, как стража. Лимонные деревья в кадках. И живая стража тоже была: двое мужчин у дома, и у одного под пиджаком так отчётливо топорщилась кобура, что даже я её узнала.

Дон вышел первым и не обернулся. Дверь с моей стороны открыл тот, кого он называл Томмазо: огромный, седой на висках, с лицом, как старая дверь. Он подал мне руку, и я сделала вид, что не вижу её.

Мраморные ступени были холодными под босыми ногами.

Меня отвели на второй этаж, в комнату в конце коридора. Белые стены, темное дерево, широкая кровать под льняным покрывалом. Высокие стеклянные двери на балкон, а за ними море, чёрное, с первой серой полосой на горизонте. Комната была больше моей кельи[1] раза в четыре. Красивая, чистая и совершенно чужая.

Дверь за мной закрыли. Замок щёлкнул дважды.

Я стояла посреди этой комнаты в грязном платье послушницы, с сбитым покровом и следами его пальцев на запястье, и вдруг поняла, что не плакала ни разу. Ни в церкви, ни в машине. Слёзы стояли где-то за грудиной, как вода за плотиной, и я знала: если пущу хоть каплю, рухнет вся стена.

Поэтому я не пустила.

Я открыла шкаф. В нём висела одежда: платья, блузки, кардиган цвета сливок. Новая, с бирками. Я сняла с вешалки первое платье и посмотрела на ярлык.

Мой размер.

У меня холодно стало в животе. Я повесила платье обратно, закрыла шкаф и села на пол у кровати, спиной к стене, лицом к двери. Как сидят в келье перед бдением[2].

Я не сниму это платье. Пока оно на мне, я всё ещё та, кем была вчера.

И молиться я могла и без чёток. *Отче наш*…Но в голове вместо молитвы снова и снова вспыхивала та щель света между створками шкафа. Молодой спокойный голос. Я тянулась к нему, как язык тянется к дырке от вырванного зуба, и натыкалась на темноту.

Теперь я знала, чей это был голос. И от этого темнота стала ещё страшнее.

Я уснула на полу, когда уже совсем рассвело.

* * *

Когда я открыла глаза, он сидел в кресле у балконной двери.

Солнце стояло высоко, и в его свете я впервые разглядела его по-настоящему. Он был моложе, чем я думала. Намного моложе. Не больше тридцати. Чёрные волосы, ещё влажные после душа. Резкие скулы, тёмная щетина, высокий свежий пластырь над бровью – моя работа. Белая рубашка с закатанными рукавами, и на предплечьях тёмные линии следов моих ногтей.

В правой руке он держал мои чётки. Перебирал бусины большим пальцем, медленно, одну за другой. Как будто молился. Меня чуть не стошнило от этого зрелища.

– Ты спала на полу, – сказал он. Не вопрос.

– Я привыкла к жёсткому.

Он чуть наклонил голову, словно запоминая. Потом поднялся, и комната сразу стала меньше.

– Правил три. Повторять не буду. – Он подошёл и остановился в двух шагах, так, что мне пришлось задрать голову. – Первое. Ты не выходишь за стену сада. Второе. Ты не лжёшь мне. Никогда и ни в чём.

– А третье?

– По четвергам я исповедуюсь. Тебе.

Я подумала, что ослышалась.

– Я не священник. Я не могу отпускать грехи. Такая исповедь ничего не стоит, это… это святотатство[3].

– Мне не нужно отпущение. – Уголок его рта чуть дрогнул, но это была не улыбка. – Мне нужен человек, который слушает. Ты уже однажды это сделала. Придётся продолжить.

– А если я нарушу правила?

Он посмотрел на меня долго. Так смотрят на шахматную доску, когда ход соперника оказался интереснее, чем ожидали.

– Узнаешь.

И тут я сломалась. Не слезами – словами. Теми, которые восемь лет смиряли постом, молитвой и словами матери Агнессы «смирение, дитя, смирение».

– Зачем я вам? – Я вскочила на ноги, и всё равно едва доставала ему до плеча. – Вы убили моего отца. Вы убили троих за неделю, вы сами сказали. Так убейте и меня, и всё! Зачем эта комната, зачем платья моего размера, зачем…

– Если бы я хотел тебя убить, – сказал он спокойно, – ты бы не проснулась в машине.

– Тогда чего вы хотите?

Он не ответил. Вместо этого его взгляд скользнул вниз, к моим губам, – всего на мгновение, так быстро, что я решила, что мне показалось. Потом он отвернулся к двери.

– Завтрак в десять. Переоденься.

– Нет.

Он остановился на пороге. Не обернулся.

– Как хочешь, сестра, – сказал он, и на этом слове в его голосе впервые появилось что-то похожее на насмешку. – Но в этом доме ты ещё долго его не снимешь. Так что привыкай стирать его сама.

* * *

Я ждала ночи.

Весь день я просидела у окна и смотрела, как живёт этот дом. Двое охранников у ворот, смена в шесть. Один обходит сад каждые сорок минут. Каменная стена вокруг сада, высокая, но на дальнем конце, за лимонной рощей, к ней лепилась старая соломенная пристройка. А под моим балконом по стене дома ползла бугенвиллия, старая, с ногу толщиной.

Завтрак, обед и ужин мне приносила на подносе пожилая женщина в чёрном, и ни разу не подняла на меня глаз. Я съела хлеб. Бегать на пустой желудок глупо.

В два часа ночи я перелезла через перила балкона.

Бугенвиллия выдержала. Шипы расцарапали мне руки и зацепили подол, и на полпути я услышала треск ткани, но не остановилась. Земля ударила в пятки. Я присела, прижалась к стене и посчитала до тридцати. Тихо. Только море внизу и цикады.

Я побежала.

Лимонная роща пахла так, что у меня кружилась голова. Падалица била по босым подошвам. Вот пристройка. Вот ржавая бочка под водостоком. Я вскарабкалась на неё, оттуда на крышу, а с крыши на стену.

По верху стены было вмуровано битое стекло.

Я поняла это, только когда оперлась ладонью. Боль была острая и чистая, как нота. Я отдёрнула руку, посмотрела на тёмную кровь, стиснула зубы и потянулась снова, теперь накрыв стекло подолом.

За стеной была дорога. За дорогой – свобода.

А под стеной, прислонившись к ней плечом, стоял Томмазо и курил.

Он поднял голову. В темноте вспыхнул огонёк сигареты.

– Слезайте, синьорина, – сказал он без всякой злости. – С той стороны обрыв метров в три. Ноги сломаете.

Я не двигалась. Кровь текла по запястью в рукав.

– Вы знали.

– Дон сказал, что вы попробуете сегодня, – прогудел он и стряхнул пепел. – Я ставил на завтра. Проиграл двадцать евро.

На секунду мне захотелось прыгнуть. Не вниз, на него. Вцепиться в это спокойное лицо.

Вместо этого я слезла. Томмазо молча вынул из кармана чистый платок, перетянул мне ладонь, туго, как солдату в окопе, и повёл назад через рощу. Не за руку. Просто шёл рядом, и этого было достаточно.

* * *

В моей комнате горела лампа.

Он сидел в том же кресле, что утром, но теперь в руке у него был стакан с чем-то прозрачным, а в пепельнице на подлокотнике дотлевала сигарета. На столике рядом стояла пустая стеклянная банка с притёртой крышкой. Такие ставят на кухне под соль.

Томмазо прикрыл за мной дверь. На этот раз замок не щёлкнул.

– Покажи руку.

– Нет.

Он встал, поставил стакан и подошёл. Взял моё запястье – то же самое, вчерашнее, с синяками от его пальцев, – и развернул платок. Порез шёл через всю ладонь. У него дёрнулась челюсть.

Он взял со стола стакан и выплеснул всё, что в нём было, мне на ладонь.

Я вскрикнула. Огонь прошёл по руке до локтя, и в нос ударил резкий винный запах.

– Граппа, – сказал он, не отпуская моей руки. – Лучше, чем аптечная дрянь.

И пока я хватала ртом воздух, он перевязал мне руку бинтом, который оказался у него в кармане. Умело, быстро. Так, как делают люди, которым часто приходится перевязывать раны. Всё это время он стоял так близко, что я чувствовала кедр, табак и тепло его тела. И самое страшное было не в том, что его руки касались меня. А в том, что они были осторожными.

Потом он отступил и достал из кармана мои чётки. Складной нож щёлкнул в его пальцах так же привычно, как другие щёлкают ручкой. Одно движение – и шнур лопнул у самого узла.

Он снял одну бусину. Завязал шнур заново. Открыл банку.

Бусина упала на стеклянное дно с тихим, сухим стуком. Как первая горсть земли на крышку гроба.

– Пятьдесят восемь, – сказал он.

– За побег?

– За ночь. За побег – вот это. – Он кивнул на мою перевязанную руку. – Стена наказала тебя сама. Мне не пришлось.

Он забрал сигареты, пустой стакан и ушёл. Банку оставил на столе. Чтобы я видела.

* * *

Спать я не могла. Ладонь дёргало, и одинокая бусина на дне банки смотрела на меня, как чёрный глаз.

Чтобы чем-то занять руки, я начала обыскивать комнату. Искала хоть что-нибудь: шпильку, гвоздь, карандаш. Что угодно, что можно сжать в кулаке.

В нижнем ящике письменного стола лежала картонная папка на завязках. Старая, с мягкими от частых прикосновений углами.

Я развязала её одной рукой.

Рисунки. Карандашные, акварельные, на тетрадных листах и на обороте монастырских расписаний. Море с крыши Санта-Кьяра. Кошка сестры Росалии. Ангел без лица, которого я рисовала снова и снова, потому что не могла решить, какое у него должно быть лицо. Мужские руки, тасующие карты, – папины руки, единственное, что я помнила о нём отчётливо.

На каждом листе в углу стояла дата, выведенная аккуратным почерком матери Агнессы. Восемь лет. Все восемь лет, год за годом.

Я отдавала эти рисунки ей. Все до одного. Она говорила, что сохранит их для меня.

Она сохранила.

Для него.

* * *

[1] Келья – маленькая комната, в которой живёт монахиня или монах. Обычно в ней только узкая кровать, стол, стул и распятие на стене.

[2] Бдение – ночная молитва в монастыре, когда не спят, а молятся до рассвета или до утренней службы.

[3] Святотатство – осквернение святыни, насмешка или преступление против того, что в вере считается священным. Для Серафины исповедь – таинство, которое может совершать только священник, поэтому исповедь перед ней кажется ей насмешкой над святым.

Бугенвиллия – южное вьющееся растение с яркими лилово-розовыми цветами и колючими стеблями. На Сицилии оно часто оплетает стены домов целиком, до самой крыши.

Глава 4.

Лоренцо

Гаэтано Скальи плакал так, что у него слипались ресницы.

В старом ангаре на дальнем пирсе пахло ржавчиной, солью и страхом. Страх пахнет одинаково у всех: кисло, как прокисшее вино. Я запомнил этот запах в девятнадцать и с тех пор узнавал его с порога.

Гаэтано сидел на стуле посреди бетонного пола, руки стянуты стяжками за спиной. Двадцать лет он работал бригадиром на наших причалах. Крестил моего кузена. Приходил на похороны моей матери и плакал тогда точно так же, не стыдясь.

И это он свёл Сальваторе Прести с людьми из Катании.

– Я не знал, дон Лоренцо, – повторял он. – Клянусь мадонной, я не знал, что он собирается…

– Ты взял деньги, – сказал я. – Десять тысяч. Твоя жена купила на них новую кухню. Красивую. С итальянской плитой.

Он замолчал. Только теперь, слушая, как я называю цвет его новых кухонных шкафов, он понял, что за ним следили не неделю. Месяц.

Я снял пиджак и отдал его Томмазо. Закатал рукава. На предплечьях ещё горели царапины от её ногтей, и я поймал себя на том, что смотрю на них дольше, чем на человека на стуле.

Это было непростительно.

Я не буду описывать, что было дальше. В четверг я расскажу это ей, слово в слово, и этого достаточно. Скажу только, что Гаэтано перестал плакать за минуту до конца. Посмотрел на меня ясно и спокойно, как смотрел, когда мне было десять и он учил меня вязать морские узлы, и сказал:

– Твоя мать бы сейчас не смогла на тебя смотреть.

Я согласился с ним. А потом сделал то, за чем пришёл.

* * *

На пирсе дул ветер с моря, и сигарета зажглась с первого раза. Руки не дрожали. Конечно, не дрожали.

Я стоял у края причала и смотрел, как огни Палермо дрожат на чёрной воде, когда за спиной захрустел гравий и кто-то присвистнул. Неторопливо, с переливами. Мелодию из старого фильма, который любил наш отец.

Так свистел только один человек на Сицилии.

– Ты потерял форму, – сказал Нико, останавливаясь рядом. – Раньше ты укладывался в сорок минут. Сегодня больше часа.

Мой сводный брат был на два года моложе меня и на целую жизнь обаятельнее. От отца ему достались чёрные волосы, от своей матери, миланской танцовщицы, – улыбка, от которой женщины забывали спросить, чем он зарабатывает. Светлый льняной костюм, золотые часы, свежий загар. Он выглядел так, будто заехал в порт по дороге с яхты.

Скорее всего, так и было.

– Тебя не было в списке, – сказал я.

– Я консильери[1], фрателло[2]. Я всегда в списке. – Он вытащил у меня из пачки сигарету, как делал в пятнадцать, и прикурил от моей. – Гаэтано. Жалко. Он делал лучший лимончелло[3] в Палермо.

Я промолчал. Нико любил тишину меньше всего на свете, и рано или поздно заполнял её тем, за чем пришёл.

– Говорят, у тебя в доме появилась монашка, – сказал он через минуту, глядя на воду. – Рыжая, босая и с очень тяжёлой рукой. У тебя на лбу, кстати, пластырь.

– Кто говорит?

– Кухарка сказала своей сестре, сестра сказала мужу, муж играет в карты с моим водителем. – Он пожал плечами. – Это Палермо, Лоренцо. Тут даже камни сплетничают.

Это была правда. Почти. Нико всегда лгал так – почти правдой.

– Это не твоё дело.

– Разумеется. – Он выпустил дым кольцами, словно ему всё ещё пятнадцать. – Я только надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Держать в доме дочь Риццо… Старики в совете не обрадуются.

Я медленно повернул голову.

Кухарка могла рассказать про рыжие волосы. Про босые ноги. Про пластырь. Но фамилию ей не сказал никто. Её знали только я, Томмазо и мать Агнесса.

– Откуда ты знаешь, чья она дочь?

Нико не замедлился ни на секунду. Именно это мне и не понравилось.

– Рыжая послушница из Санта-Кьяра, – протянул он и усмехнулся. – Фрателло, я же не слепой. Ты восемь лет платишь этим монашкам больше, чем епископу. Я веду книги, если ты забыл.

Он щелчком отправил окурок в воду, хлопнул меня по плечу и пошёл к машине, снова насвистывая.

Объяснение было хорошее. Аккуратное, логичное. Нико всегда был хорош в объяснениях.

Только в книгах, которые он вёл, платежи монастырю числились пожертвованиями на реставрацию фресок. И в них не было ни слова ни про какую послушницу.

* * *

На виллу я вернулся в третьем часу ночи.

На манжетах рубашки засохли бурые пятна. В другую ночь я бы сначала принял душ, налил себе граппы и выкурил на балконе две сигареты подряд, пока из головы не уйдёт лицо того, кого я оставил в порту. Этот порядок не менялся девять лет.

В эту ночь я поднялся прямо на второй этаж и остановился у её двери.

Замок я велел больше не запирать. Стена с битым стеклом объяснила ей правила лучше любого замка, а запертая дверь только даёт силы ненавидеть. Дверь открылась без звука.

Серафина спала на полу.

Снова. У кровати, спиной к стене, всё в том же чёрном платье с оборванным подолом. Голова склонилась на плечо, покров сполз совсем, и медные волосы лежали на чёрной ткани, как разлитая ржавчина. Перевязанная ладонь лежала на колене ладонью вверх, словно она и во сне чего-то просила.

Рядом на полу лежала папка с её рисунками. Завязки распущены. На верхнем листе – ангел без лица.

Значит, нашла. Я положил их туда вчера утром, перед тем как она проснулась, и сам не знал зачем. Может, чтобы вернуть ей хоть что-то из того, что у неё отняли. Может, чтобы она поняла: я видел каждый год её жизни и ни в одном из них не постучал в её дверь.

Я стоял в дверях и смотрел на неё. Долго. Так, как себе не позволял смотреть ни разу – ни с той Пасхи, ни в церкви, ни в машине. Потому что когда она не спала, она смотрела на меня в ответ. И в её глазах я видел то, чем был на самом деле.

Я хотел её. Сказать это себе оказалось проще, чем старику за решёткой. Хотел так, что сводило челюсти. Хотел снять с неё это чёрное платье, в котором она пряталась от меня, как за крепостной стеной, и узнать, сколько в ней на самом деле того огня, с которым она била меня подсвечником.

Но то, чего я хотел, не должно было случиться с женщиной, которая спит на полу, лишь бы не ложиться в мою постель. Я мог взять у неё свободу, чётки, постриг. Всё остальное она отдаст сама. Или не отдаст никогда.

Я наклонился, осторожно, чтобы не задеть перевязанную руку, и поднял её с пола. Она была лёгкой, тёплой и пахла лимонами из сада. Пробормотала что-то во сне и уткнулась лбом мне в плечо, и на короткую, страшную секунду я забыл, как дышать.

Я положил её на кровать и накрыл покрывалом. Потом достал из кармана чётки, снял ещё одну бусину и опустил в банку на столе. Тихо, чтобы не разбудить.

Пятьдесят семь.

Утром она проснётся в кровати и поймёт, что я был здесь. Пусть. Пусть знает, что мог сделать что угодно и не сделал. Иногда это пугает сильнее.

* * *

Томмазо ждал меня внизу, в кабинете. Он никогда не садился без приглашения, и сейчас стоял у окна, заложив руки за спину.

Я налил себе граппы, налил вторую рюмку и поставил перед ним. Он не взял.

– Говори.

– Синьор Нико, – сказал Томмазо, не оборачиваясь. – Я ехал за ним от самого пирса. Он даже не доехал до ворот порта: свернул к складам, заглушил мотор и кому-то позвонил. Говорил долго. И встал так, чтобы его не было видно с дороги.

Я покрутил рюмку в пальцах.

– Кому?

– Не знаю, дон Лоренцо. – Томмазо наконец повернулся. В тёмном стекле за его спиной отражалась лампа. – Но перед этим он перекрестился. А за двадцать лет я ни разу не видел, чтобы синьор Нико крестился.

* * *

[1] Консильери – советник дона в сицилийской мафии, его правая рука и доверенное лицо. Ведёт дела семьи и переговоры.

[2] Фрателло (итал. fratello) – «брат».

[3] Лимончелло – сладкий итальянский лимонный ликёр, его делают из лимонной цедры и пьют охлаждённым.

Гла

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.